



Жизнь Пушкина

**МОЙ ДЯДЯ –  
ПУШКИН**  
ИЗ СЕМЕЙНОЙ  
ХРОНИКИ



ЛЕВ ПАВЛИЦЕВ

Жизнь Пушкина

Лев Павлицев

**Мой дядя – Пушкин.  
Из семейной хроники**

«Алисторус»

2012

## **Павлищев Л. Н.**

Мой дядя – Пушкин. Из семейной хроники / Л. Н. Павлищев — «Алисторус», 2012 — (Жизнь Пушкина)

Лев Николаевич Павлищев (1834—1915), племянник Пушкина, сын его сестры Ольги Сергеевны Павлищевой, оставил интереснейшие воспоминания, написанные в духе мемуарного жанра семейной хроники. Мальчиком он напоминал Наталии Николаевне Пушкиной-Ланской своего первого мужа: «Горячая голова, добрейшее сердце, вылитый Пушкин». Мемуары Павлищева донесли до нашего времени семейные легенды о Пушкине и его ближайшем окружении, унаследованные автором от старшего поколения и расцветенные его собственными представлениями о личности поэта. Они содержат свидетельства очевидцев и участников событий, в том числе предшествующих дуэли мистических историй, которые, по преданию, нередко случались в пушкинском семействе.

© Павлищев Л. Н., 2012

© Алисторус, 2012

## Содержание

Глава I	5
Глава II	10
Глава III	14
Глава IV	17
Глава V	21
1. Белая женщина	27
2. Двойник	28
3. Одновременная галлюцинация Василия и Сергея Львовичей	29
4. Галлюцинация Льва Сергеевича	30
5. Кончина Алексея Михайловича Пушкина	31
Глава VI	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

# Лев Павлищев

## Мой дядя – Пушкин. Из семейной хроники

*Отдых от жизни тяжелой  
Могила одна лишь дает, —  
Пусть же с улыбкой веселой  
Страдалица к смерти идет...*  
*Ольга Павлищева*

### Глава I

В течение очень долгого времени писал я для себя воспоминания о моем детстве, юности и дальнейших затем событиях моей жизни. Воспоминания эти, касающиеся меня лично, не могут, большею частью, представлять особенного интереса для читающей публики. Всякий из нас, людей обыкновенных, прошедших, впрочем, далеко не усеянную розами жизненную школу, если не записывает, то сохраняет в душе воспоминания, которыми считает совершенно излишним делиться с посторонними: личность человека заурядного никого не может интересовать, хотя и эти люди несут тоже весьма нелегкий жизненный крест, а может быть, и несравненно более испытывают «скорбь, гнев и нужду», чем люди выдающиеся. Но публике до этих иеремиад ровно никакого дела нет.

Вот почему я и не вижу надобности предавать гласности целиком все мои воспоминания.

Но среди этих воспоминаний, – скажу без самоуверенности, – находятся страницы, которые мне было бы просто грешно не сообщить читателям. Разумею под этими страницами выдержки из моих воспоминаний, которые относятся к родителям и родственникам незабвенной, неизгладимой памяти поэта нашего, Александра Сергеевича Пушкина, и в особенности к единственной сестре его, Ольге Сергеевне Павлищевой – матери моей. Будучи старше его, она скончалась с лишком тридцать лет спустя после безвременной смерти брата.

Пушкин принадлежит не только своим кровным родным, но и всей России, а потому и личность горячо любимой им сестры не должна отнюдь оставаться в совершенной тени.

В покойной матери моей Александр Сергеевич видел не только сестру родную, но своего искреннего друга; с ней – с детского возраста своего – он отводил душу и делился вдохновениями, осуществляемыми его внезапно угасшею лирой. Не чуждая – как увидим ниже – поэтического творчества, мать моя была первоначальным его товарищем. Перед нею он ничего не скрывал; впрочем, его честной, вполне рыцарской душе и скрывать перед горячо любимой им сестрою было нечего: характеры их были как нельзя более схожи; чуткая ко всему возвышенному, мать моя была, в глазах моего дяди, идеалом женщины теплой, отзывчивой, благородной, что видно из его к ней отношений.

После всего этого не могу допустить предположения, что часть моих записок, в которой упоминаю в главных чертах о покойной Ольге Сергеевне, не заинтересует всякого, кому маломальски дорога память ее брата.

В этом отрывке из моих воспоминаний описан мною, хотя весьма неполно, но, смею сказать, добросовестно, домашний быт родителей Александра Сергеевича и Ольги Сергеевны, характер матери моей, дни ее молодости, замужество, общество, в котором она вращалась, и, наконец, страдальческая ее кончина.

Не будучи чуждой литературного творчества, Ольга Сергеевна никогда не делилась с публикой своими произведениями, находя, что, – как она выражалась, – *le jeu ne vaut pas la chandelle* (игра не стоит свечки), а в 1854 году она, занимаясь бывшим тогда в моде спири-

тизмом (который впоследствии сама же осмеяла в одном из приводимых мною ниже предсмертных ее стихотворений «Что такое спиритизм»), – сожгла без моего ведома, повинувшись явившейся будто бы ей тени Александра Сергеевича, почти все свои старинные рукописи, в числе которых первое по интересу место занимали веденные ею с молодых лет на французском языке записки, озаглавленные «*Mes souvenirs*» («*Мои воспоминания*» (фр.)). В записках этих весьма интересно была изложена хроника семейств Пушкиных, Ганнибаловых и характеристики посещавших дом ее родителей литераторов и общественных деятелей первой половины текущего столетия. Не имея никакой возможности пополнить этот пробел в моих воспоминаниях, я ограничился только тем, что мать моя сообщала мне изустно. Не подвергся, к счастью, истреблению хранящийся у меня альбом со стихами ее на французском языке и списанными ею любимыми произведениями ее брата, Жуковского, Дельвига, Баратынского, князя Вяземского, Мятлева, Веневитинова и других писателей пушкинской плеяды. Из этого альбома привожу несколько ее произведений, и, кроме того, сохранившиеся у меня на отдельных листках ее предсмертные стихотворения – русские и французские, которые она писала довольно четко, несмотря на постигшую ее неизлечимую глазную болезнь – умерла она почти слепая.

Наконец я счел не лишним записать в моих воспоминаниях и некоторые семейные легенды пушкинские. Для большинства читателей легенды эти, носящие на себе мистический характер, столь осмеянный нашим положительным веком, не могут представлять особенного интереса, но отвожу им место потому, что, завлекая мать мою в мир фантазий, они способствовали мистическому настроению ума ее. Делаю это и потому, что какие бы то ни было события в семье Ольги Сергеевны – будь даже они и плодом галлюцинации – имеют для меня, как для сына ее, немалое значение. Впрочем, из множества подобных таинственных происшествий привожу – как сказал выше – только те, о которых мать моя любила вспоминать в кружке своих друзей и которые, так сказать, не прошли для нее бесследно, содействуя ее поэтическим вдохновениям.

В заключение не могу не сказать следующее.

До настоящего времени никто из биографов покойного моего дяди, – как это ни покажется странным, – не отвел единственной, родной сестре его, матери моей Ольге Сергеевне, подобающего ей места, между тем как, распространяясь о младшем брате поэта, господи эти толковали усердно и о няньке матери моей и его, Ирине Родионовне (нашедшей себе место и на картине Ге – «Пушкин, читающий свои стихи Пушину»), личности полуграмотной и ровно ничем не замечательной в сущности, кроме сообщаемых ею рассказней о богатыре Еруслане Лазаревиче, царе Салтане и прочих, в этом роде, народных басен. Этого мало. Из представленных мною на Пушкинскую выставку в Москве – во время открытия памятника дяде в 1880 году – семейных портретов воспроизведены только в «Пушкинском альбоме», изданном при содействии г. Поливанова, портреты его брата, Льва Сергеевича, и бабки моей Надежды Осиповны, работы графа де Местра, имеющиеся только у меня. Между тем г. Поливанов, выпросивший тогда у меня портреты для снятия с них изображений, не знаю почему, счел излишним воспроизвести предъявленный ему мною портрет старшей сестры поэта вместе с остальными двумя и, отсылая мне их обратно, не потрудился мне объяснить причину такого недосмотра.

Все эти пробелы о незабвенной матери моей считаю сыновним долгом пополнить насколько возможно и вместе с тем приложить к моим воспоминаниям копию с портрета покойной. Оригинал портрета – работы подруги Ольги Сергеевны, Варвары Федоровны Черновой, которая нарисовала его акварелью в 1844 году, когда мать моя гостила у нее в Пулавах.

Покойная мать моя, Ольга Сергеевна Павлищева, единственная дочь Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных, родилась в Петербурге 20 октября 1797 года, следовательно, была старше своего брата поэта годом и пятью месяцами, а младшего брата Льва Сергеевича – почти четырьмя годами. Другие младшие ее четыре брата – Николай, Павел, Михаил, Платон и сестра София скончались в малолетстве.

Отец ее, Сергей Львович, сын артиллерии полковника Льва Александровича Пушкина и Ольги Васильевны, рожденной Чичериной, второй жены последнего, имел трех братьев по первому браку отца, а именно: Николая, артиллерии полковника, вступившего в брак с сестрою писателя Измайлова, Петра и Александра, тоже служивших в артиллерии; а по второму – известного деятеля в литературной среде Василия, скончавшегося в 1830 году, и двух сестер: Анну, умершую в девичах, и Елизавету, вышедшую замуж за камергера Матвея Михайловича Сонцова.

Сергей Львович записан был с малолетства в лейб-гвардии Измайловский полк, а потом переведен в гвардейский Егерский. Выйдя в отставку в 1798 году, после рождения моей матери, он переехал с семейством в Москву, а в 1814 году опять поступил на службу и управлял Комиссариатскою комиссией резервной армии в Варшаве, где и прожил около года, после чего, выйдя вторично в отставку с чином V класса, соединился с женою и детьми в Петербурге. Ольга Сергеевна и Лев Сергеевич находились при родителях, а Александр Сергеевич обучался в Царскосельском лицее.

Дед мой, получив образование французское, имел, можно сказать, и склад ума французский. Зная всего понемногу, отличаясь превосходною памятью, он питался преимущественно французскою литературой, писал прекрасные французские стихи, даже целые повести в стихах, и был душою общества, устраивая домашние спектакли, собрания и игры – *jeux d'esprit*<sup>1</sup>, причем отличался и в каламбурах, и в разнообразных, принимаемых им на себя, актерских ролях. Мастерским чтением его комедий Мольера восхищались все, а остроты его, из числа коих некоторые, со слов моей матери, приведены в собранных покойным П. В. Анненковым материалах для биографии Александра Сергеевича, ходили по рукам. Французские же его повести написаны были им в альбоме, принадлежавшем родственнице поэта Мицкевича, госпоже Воловской, с которой дед мой встречался в Варшаве.

При своем легкомысленном направлении Сергей Львович хотя и читал книги серьезные, но не любил в беседе своей затрагивать политические и экономические вопросы, и, несмотря на то, что перечитал у себя все творения французских энциклопедистов прошлого века, избегал в обществе всяких философских прений и разговоров мало-мальски серьезных. В жизни практической он всегда был наивен: поручив управление своим Болдинским имением в Нижегородской губернии своему крепостному человеку М. К-ву, дед в это поместье не заглядывал, чем К-в и воспользовался, кончив тем, что сам разбогател. Так же небрежно дед следил за делами и Михайловского имения, и только в 1836 году, по смерти Надежды Осиповны, отец мой, Николай Иванович Павлищев, проездом из Петербурга в Варшаву, проведя в Михайловском летнее время, выпросил у Сергея Львовича разрешение сменить плута управляющего и завести новые порядки, значительно увеличившие поземельный доход. Распоряжения отца моего по этому предмету изложены в приобщаемой к этим воспоминаниям переписке его с Александром Сергеевичем. Не имея ни малейшего понятия о сельском хозяйстве, дед мой довольствовался присылаемыми из Михайловского двумя-тремя возами домашней замороженной птицы и масла, с прибавкой сотен двух-трех рублей ассигнациями, и не терпел занятий по хозяйству до такой степени, что, когда к нему прибыла из деревни депутация крестьян с весьма основательными жалобами на мошенника управляющего, прогнал ее, не расспросив в чем дело. Да и бабка моя, Надежда Осиповна, которой Сергей Львович предоставил, ради своих сибаритских привычек, дела по хозяйству, хотя и была практичнее своего мужа до некоторой степени, но едва ли знала и ведала настоящую цену вещам, а потому в итоге всегда у них получался *минус*, а не *плюс*, на что и намекнул в одной из своих сатир Мятлев, под названием «Сельское хозяйство, быль на Руси»:

---

<sup>1</sup> Игры ума (*фр.*)

Вот управляют как у нас:  
Все минус, а не плюс.  
Ке вуле ву ке л'о н фасе?  
Он не се па ле Рюсс.<sup>2</sup>

При таком отношении к практическому быту мой дед и бабка нуждались постоянно, что и отзывалось на детях, не всегда получавших от родителей деньги даже на мелкие расходы. Парадные комнаты освещались канделябрами, а в комнате моей матери, продававшей зачастую свои брошки и серьги, чтобы справиться себе новое платье, горела сальная свеча, купленная Ольгою Сергеевной на сбереженные ею деньги.

Зато в доме деда и бабки благоденствовала и процветала поэзия, а благоденствовала и процветала она до такой степени, что и в передней Пушкиных поклонялись музе доморощенные стихотворцы из многочисленной дворни обоего пола, знаменитый представитель которой, Никита Тимофеевич, поклонявшийся одновременно и древнему богу Вакху, – на общем основании, – состряпал нечто в роде баллады, переделанной им из сказок о «Соловье разбойнике, богатыре широкогрудом Еруслане Лазаревиче и златокудрой царевне Миликтрисе Кирбитьевне». Безграмотная рукопись Тимофеевича, в конце которой нарисован им в ужасном, по его мнению, виде Змей Горынич, долгое время хранилась у моей матери, – затеряна при переезде Ольги Сергеевны в 1851 году из Варшавы в Петербург.

Дед мой по природе своей отличался добрым, благородным сердцем, но, увы! и самодурством. Будучи в высшей степени вспыльчив, он во время порывов гнева забывался. Порывы эти продолжались у него, впрочем, недолго, и, придя в себя, он раскаивался и просил извинения. Так, однажды дед мой в припадке гнева дал довольно внушительное физическое наставление автору баллады о «Соловье разбойнике» за плохо вычищенные сапоги или разбитие лампы, наверное не знаю, но после этого наставления почувствовал такое сильное угрызение совести, что, надев шляпу, выскочил на улицу и более четверти часа просидел на тумбе, заливаясь горчайшими слезами. Так рассказывала мне об этом случае мать.

Сергей Львович, женившийся на внучке Ибрагима (Авраама) Петровича Ганнибала, негра Петра Великого, состоял с женой своей, Надеждой Осиповной, в родстве, так как мать ее, Марья Алексеевна Ганнибал, рожденная Пушкина, приходилась ему внучатной сестрою.

Надежда Осиповна была необыкновенно хороша собою, и в свете прозвали ее совершенно справедливо «прекрасною креолкой» (*la belle creole*). В полном блеске красоты своей бабка моя изображена на доставшемся мне, как выше я упомянул, единственном ее портрете на слоновой кости работы французского эмигранта графа Ксаверия де Местра, автора многих литературных произведений, между прочим, «*Voyage autour de ma chambre*»<sup>3</sup>; граф любил посвящать свои досуги и портретной живописи.

По своему знанию французской литературы и светскости бабка моя совершенно сошлась с своим мужем: в имеющихся у меня ее письмах к дочери замечается безукоризненный стиль какой-нибудь Севинье, а проводя свою молодость сначала в Москве, потом в Петербурге, среди шумных забав большого света, Надежда Осиповна очаровывала общество красотой, остроумием и неподдельною веселостью.

По характеру своему, напротив того, она резко отличалась от Сергея Львовича: никогда не выходя из себя, не возвышая голоса, она умела, что называется, дуться по дням, месяцам и даже целым годам. Так, рассердясь за что-то на Александра Сергеевича, которому в детстве доставалось от нее гораздо больше, чем другим детям, она играла с ним в молчанку круглый год, проживая под одною кровлею; оттого дети, предпочитая взбалмошные выходки

---

<sup>2</sup> *Que voulez-vous que Ton fasse? On ne sait pas le russe.* (Но что же тут поделаешь? Ведь они не знают русского (*фр.*)).

<sup>3</sup> «Путешествие вокруг моей комнаты» (*фр.*).

и острастки Сергея Львовича игре в молчанку Надежды Осиповны, боялись ее несравненно более, чем отца.

Эта черта своеобразного характера бабки моей особенно проявилась резко относительно моего отца, Николая Ивановича, после его свадьбы. Но об этом будет мною сказано в своем месте.

Не могу не упомянуть кстати, со слов моей матери, о наказаниях, придуманных Надеждой Осиповной для моего дяди Александра Сергеевича, чтобы отучить его в детстве от двух привычек: тереть свои ладони одна о другую и терять носовые платки; для искоренения первой из этих привычек она завязала ему руки назад на целый день, проморив его голодом; для искоренения же второй – прибегала к следующему: «Жалую тебя моим бессменным адъютантом, *se dont je te felici-te (с чем тебя поздравляю)*», – сказала она дяде, подавая ему курточку. На курточке красовался пришитый, в виде аксельбанта, носовой платок. Аксельбанты менялись в неделю два раза; при аксельбантах она заставляла его и к гостям выходить. В итоге получился требуемый результат – Александр Сергеевич перестал и ладони тереть, и платки терять.

Укажу, кроме того, и на следующую странность моей бабки: она терпеть не могла заживаться на одном и том же месте и любила менять квартиры: если переезжать, паче чаянья, было нельзя, то она превращала, не спрашивая Сергея Львовича, снисходившего к ее причудам, кабинет его в гостиную, спальню в столовую и обратно, меняя обои, переставляя мебель и прочее.

Сергей Львович пережил свою жену на 12 с лишком лет, а сына-поэта – на 11 лет, скончался он в июле 1848 года, а бабка – в 1836 году, в самый день Пасхи, во время заутрени. Но и об этом скажу ниже более подробно.

## Глава II

Восприемником матери моей Ольги Сергеевны был брат ее деда с материнской стороны генерал-поручик Иван Ибрагимович Ганнибал, сын крестника Петра Великого, негра Ибрагима (Авраама) Петровича, родоначальника Ганнибалов, Наваринский герой и основатель Херсона, где ему воздвигнут и памятник.

Александр Сергеевич, воспевая его в своей родословной, говорит так:

И был отец он<sup>4</sup> Ганнибала,<sup>5</sup>  
Пред кем, средь гибельных пучин,  
Громада кораблей вспылала  
И пал впервые Наварин...

Как известно уже из упомянутых мною выше собранных П.В. Анненковым материалов, в числе которых занимает одно из первых мест эпизод о детстве Александра Сергеевича, написанный моим отцом, Николаем Ивановичем Павлищевым, со слов покойной Ольги Сергеевны, Иван Ибрагимович (скончавшийся в 1800 году) был опекуном племянницы своей, бабки моей Надежды Осиповны. Он употребил все меры расторгнуть второй брак своего брата Осипа, который при живой жене своей, Марии Алексеевне, обвенчался, при помощи фальшивого свидетельства о смерти супруги, с Устиньей Ермолаевной Толстой, и достигнул цели; энергически вступился Иван Ибрагимович за права брошенной своей невестки. Марье Алексеевне вследствие этого отдана была дочь ее, Надежда Осиповна, а муж ее, второй брак которого был уничтожен, поселился в своей вотчине Михайловском, где и скончался в 1807 году, когда матери моей, т. е. внучке его, было уже десять лет; не видался он, со времени окончания дела, ни с дочерью, ни с женой Марьей Алексеевной, которая по окончании бракоразводного процесса, продав соседнее свое имение Кобрино и приобретя подмосковное сельцо Захарьино, поселилась в доме своего зятя Сергея Львовича и не покидала уже этот дом до самой своей смерти в 1819 году. Затем какая судьба постигла обманутую Осипом Ибрагимовичем Устинью Ермолаевну – мне неизвестно.

Окончательно поселясь у Пушкиных, Марья Алексеевна Ганнибал была первой наставницей своей внучки и внуков. Обладая изящным слогом, которым любовались все, читавшие ее письма, она обучала мать мою и братьев ее Александра и Льва Сергеевичей сначала русской грамоте, а впоследствии и русской словесности. Как она, так и дядя их Василий Львович, возивший в 1811 году Александра Сергеевича для определения в Царскосельский лицей, имели на молодых Пушкиных самое благотворное влияние своими кроткими внушениями, религиозными убеждениями и возвышенною душою. Пользовавшийся всеобщим уважением Василий Львович резко отличался своим характером от своего брата Сергея: мать моя не помнит, сердился ли он когда-нибудь и возвышал ли голос, а если разошелся с своей легкомысленной женой Капитолиной Михайловной, рожденной Вышеславской, то отнюдь не по своей вине, и понятно, что все, кто его только знал и любил (а знала его и любила вся Москва), очутились безусловно на его стороне. Василий Львович был настолько умен, что не обижался, если иногда над ним друзья его и подшучивали. Так он расхохотался хотя меткой, но исполненной деликатности шутке своего большого приятеля, литератора И. И. Дмитриева, выразившейся в форме напечатанного только для тесного кружка друзей стихотворения «Путешествие Василия Львовича в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия», с нарисованной на

---

<sup>4</sup> Негр, Авраам Петрович.

<sup>5</sup> Ивана Авраамовича.

Василия Львовича карикатурой. Не рассердился он и на выходку того же Дмитриева, когда последний сказал ему: «Эх, брат, Василий Львович! много, много написал ты на своем веку, а все-таки лучшее твоё произведение – нецензурный «Опасный сосед», да и тот приписывают не тебе, а твоему племяннику».

Василий Львович, когда приехал в Петербург погостить у своего брата, ввел его в кружок первоклассных литераторов: Дмитриев, Жуковский, историограф Карамзин, Батюшков, князь Вяземский стали обычными посетителями моего деда. Впоследствии, с выпуском Александра Сергеевича из лицея, а Льва Сергеевича из университетского пансиона, кружок этот увеличился товарищами и друзьями дяди Александра – бароном А.А. Дельвигом, В.В. Кюхельбекером, А.С. Грибоедовым, бароном М.А. Корфом, П.А. Плетневым, Е.А. Баратынским и С.А. Соболевским, из числа которых Пушкин особенно был дружен с двумя первыми и Плетневым, а впоследствии с Соболевским и Данзасом.

Итак, Марья Алексеевна Ганнибал и Василий Львович Пушкин были первыми руководителями моей матери. Имели также влияние на её нравственное воспитание и незабвенные тетки её по отцу – Анна Львовна Пушкина, скончавшаяся в девичах, и Елизавета Львовна, вышедшая замуж за душевного друга Сергея Львовича – Матвея Михайловича Сонцова, превосходившего моего деда в острогах и шутках; на этой-то почве они и сошлись после следующей шутки Матвея Михайловича: «Вот, милый друг, Пушкин, ты говоришь, что фамилия Пушкиных древнее фамилии моей – Сонцовых; быть может, по геральдике, а не по существу: сон был известен вселенной, когда ей о пушке ещё и не снилось».

Общей нянею моей матери и братьев её была получившая отпускную, приписанная по Кобрину и воспетая Александром Сергеевичем Ирина Родионовна, как известно, в следующих стихах:

Подруга дней моих суровых,  
Голубка дряхлая моя!  
Одна в глуши лесов сосновых  
Давно, давно ты ждешь меня... *и проч.*

Приставленная сперва к моей матери, со дня рождения Ольги Сергеевны, она уже потом стала няней её братьев, отдавая все-таки предпочтение первенцу – Ольге Сергеевне, – что и доказала, переехав в дом отца моего тотчас после его свадьбы, где мать моя и закрыла ей глаза в конце 1828 года.

Как выше сказано, Ольга Сергеевна обучалась отечественному языку у своей бабки, Марьи Алексеевны Ганнибал, а Закон Божий преподавал ей священник Мариинского института Александр Иванович Беликов до её семнадцатилетнего возраста. Обладая в совершенстве французским языком, он сделался известным прекрасным переводом своим по-русски «Духа Масильона», а также красноречивыми проповедями. В гостинной Пушкиных он беседовал с пользовавшимися широким – а *deux battants* (двери нараспашку (*фр.*)) – гостеприимством деда моего и бабки французскими эмигрантами на их же языке и весьма ловко, при возникающих во время этих бесед с поклонниками Дидро и Вольтера прениях, поражал собственным же оружием этих господ – колкой насмешкой. Беликов, как мне рассказывала мать, продолжал посещать дом деда и бабки ещё долгое время по окончании её воспитания и неоднократно, ведя с нею философские в духе христианства разговоры, увещевал её не предаваться чтению имевшихся у её родителей произведений софистов прошлого века, называя их по-французски же: «*les apotres du diable*» («апостолы дьявола» (*фр.*)), причем подарил ей на память составленное неизвестным испанским автором и переведенное на русский язык сочинение в трех частях, под названием: «Торжество Евангелия, или Записки светского человека, обратившегося от заблуждений новой философии. Сочинение, в котором победоносным образом пора-

жаются лжемудрствования неверия и в коем доказывается истина христианской веры». Подарок Беликова, составляющий ныне, если не ошибаюсь, библиографическую редкость, мать моя считала весьма ценным и подарила мне его на память, в свою очередь, в день моего поступления в университет. Книгу эту я храню как священное для меня о моей матери воспоминание.

Беликов умел снискивать себе расположение всех, кто только посещал дом моего деда и бабушки, своей сдержанностью, безобидным остроумием и, несмотря на свою рясу, салонным тактом. Уважал его и перебивавший в этом семействе легион иностранных гувернеров и гувернанток. Затем скажу и об этих господах пару слов.

Именно господ и госпожей этих перебивал легион: имена же их знает один Господь; из них выбираю эссенцию, а именно, несносного, капризного самодура Русло да достойного его преемника, по тем же качествам, Шеделя, в руках которых находилось обучение детей всем почти наукам. К счастью, не отдали в их распоряжение русский язык да православный катехизис.

Из них Русло, а не Шедель, как ошибочно сказано в материалах Анненкова, нанес оскорбление юному своему питомцу Александру Сергеевичу, одиннадцатилетнему ребенку, расхохотавшись ему в глаза, когда ребенок написал для своих лет вполне гениальную стихотворную шутку «La Tolyade» («Толиада» (*фр.*)) в подражание «Генриаде». Изображая битву между карлами и карликами, дядя прочел гувернеру начальное четверостишие:

Je chante ce combat que Toly remporta,  
Ou maint guerrier perit, on Paul se signala,  
Nicolas Maturin et la belle Nitouche,  
Dont la main fut le prix d'une terrible escarmouche.<sup>6</sup>

Русло довел Александра Сергеевича до слез, осмеяв безжалостно всякое слово этого четверостишия, и, имея сам претензию писать французские стихи не хуже Корнеля и Расина, рассудил, мало того, пожаловаться еще неумолимой Надежде Осиповне, обвиняя ребенка в лености и праздности. Разумеется, в глазах Надежды Осиповны дитя оказалось виноватым, а самодур правым, и она, не знаю каким образом, наказала сына, а самодуру за педагогический талант прибавила жалованье. Оскорбленный ребенок разорвал и бросил в печку стихи свои, а непомерно усердного наставника возненавидел со всем пылом африканской своей крови.

Преемник Русло, Шедель, был тоже экземпляр своего рода: свободные от занятий с детьми досуги проводил он в передней, играя с дворней в дурачки, за что, в конце концов, и получил отставку. Все это рассказала мне мать.

В руках этих-то господ находилось первоначальное образование моей матери и ее брата, и, смело скажу, умственным своим развитием мать моя обязана самой себе, точно так же, как и брат ее.

Порицая Русло и Шеделя, не могу, однако, ставить с этими чудаками на одну доску воспитателя детей, тоже французского эмигранта, графа Монфора, человека образованного, гуманного, чуждого вполне того, что называют французы *maniere de goujat* (казарменных выходов). Граф Монфор, живописец далеко не заурядный, подметив в моей матери охоту к рисованию, очень этому обрадовался, и под его руководством она сделала первые шаги в искусстве. Впоследствии Ольга Сергеевна обучалась с большим успехом живописи у графа Ксаверия де Местра и прекрасно рисовала портреты акварелью. Не был ей чужд и карикатурный жанр.

Гувернантки были сноснее гувернеров, хотя и не блистали напускными педагогическими ухватками. Но из них большая часть по образованию и уму стояла ниже всякой критики, пора-

---

<sup>6</sup> Воспеваю тот бой, в котором Толи победил, где немало воинов пало, где отличился Поль, Николя Матюрен и прекрасная Нитуш, чья рука была наградой за страшную схватку (*фр.*).

жая своею наивностию. Так, одна из них удивлялась, каким образом волки не прогуливаются по улицам Москвы, как о том ей рассказывали, когда она поехала в Россию из родины своей – отчизны Вильгельма Телля; а другая тоже удивлялась, что в России десертом после обеда не служат сальные свечки. Но все эти гувернантки были женщины добрые, искренно любившие своих питомцев. В особенности выделялась своей, так сказать, материнской нежностью к Ольге Сергеевне англичанка, мисс Белли, кончину которой питомица ее горько оплакивала. Мисс Белли развила в матери моей любовь к английской словесности, познакомив ее с образцовыми произведениями Шекспира, особенно с «Макбетом», которого она ставила выше других трагедий знаменитого поэта. Под руководством мисс Белли Ольга Сергеевна и изучила английский язык основательно.

Живопись, как я сказал уже, была любимым искусством моей матери; она любила было и музыку, но, к сожалению, дело испортил приставленный к ней в качестве преподавателя фортепианной игры неудавшийся танцмейстер, немец Гринвальд; барабана беспощадно на клавикордах, принадлежавших едва ли не деду моей бабки, негру Ибрагиму Петровичу, – другого же более приличного инструмента не водилось, – Гринвальд пробовал так же беспощадно силы мышц своих и на учениках; придя в музыкальный восторг, он так больно ударил бедную Ольгу Сергеевну линейкою по руке, что она вскрикнула: «Monsieur Grtinwald, vous me faites mal!» – «Et qui vous dit que je ne veux pas vous faire du mal?»<sup>7</sup> – счел за благо отвечать немец.

Блистательный результат подобной музыкальной школы не замедлил обнаружиться – музыка опротивела Ольге Сергеевне.

Кроме посещавших деда моего замечательных лиц, которые не могли не повлиять на развитие умственной деятельности моей матери и характер которых, каждого в особенности, она очертила, насколько мне помнится, превосходно в уничтоженных ею впоследствии записках, – обычными гостями ее родителей были французские эмигранты вроде графа Бурдибура, Кашара и виконта Сент-Обена (о графе де Местре я сказал выше); эти так называемые «habitués»<sup>8</sup> находили у деда и бабки и радушный русский прием, безукоризненный, родной им французский говор. В числе эмигранток блистала остроумной беседой и талантливая, между прочим, пианистка Першерон де Муши, вышедшая впоследствии замуж за знаменитого Фильда.

---

<sup>7</sup> «Господин Грюнвальд, вы делаете мне больно!» – «А кто вам сказал, что я не хочу сделать вам больно?» (фр.)

<sup>8</sup> «Завсегдатаи» (фр.).

### Глава III

Отношения Александра Сергеевича к сестре были самые дружественные, начиная с детства и до самой его кончины. Она была товарищем его детских игр. Вопреки бессмысленных преследований гувернера Русло, дядя мой, забираясь в библиотеку отца, перечитывал французские комедии Мольера и под впечатлением такого чтения сам стал упражняться в писании подобных же комедий, по-французски же. Брат и сестра для представления этих комедий соорудили в детской сцену, причем он был и автором пьес и актером, а публику изображала она. В числе этих комедий была носившая название «Escamoteur» («Похититель»), сильно не понравившаяся Ольге Сергеевне; она, в качестве публики, освистала этого «Похитителя», что и послужило дяде поводом к следующему четверостишию:

Dis-moi, pourquoi l'Escamoteur  
Est il sifflé par le parterre?  
Helas! c'est que le pauvre auteur  
L'escamota de Moliere.<sup>9</sup>

В 1814 году Александр Сергеевич, будучи в лицее, написал известное послание к сестре:

Ты хочешь, друг бесценный,  
Чтоб я, поэт молодой,  
Беседовал с тобой... и проч.

Послание это написал он в пяти экземплярах на простой серой бумаге. Один из них мать моя подарила мне на память.

По воскресеньям и праздникам родные посещали царскосельских питомцев, так как воспитанники лицея на дом не отпускались. (Правило это строго соблюдалось при первом директоре Малиновском; но при его преемнике, Энгельгардте, оно несколько раз было то отменяемо, то восстанавливаемо.) Тут-то во время этих посещений дядя мой читывал своей сестре поэтические произведения своей юной лицейской музы, спрашивая ее советов, так как сознавал тонкость ее вкуса и меткость ее замечаний. Она, со своей стороны, обменивалась с ним мыслями, сама стараясь развивать себя умственно и пополнять пробелы домашнего своего образования.

Пополнением этих пробелов послужили ей беседы с Державиным (в ее детстве), а потом с Жуковским, другом его П.А. Плетневым, князем П.А. Вяземским и, как упомянуто выше, со священником А.И. Беликовым. Отец же ее, Сергей Львович, ограничивался тем, что по вечерам занимал ее мастерским чтением французских классиков, в особенности Мольера, но без всяких объяснений и разбора, читая все, что ни попадетсЯ ему под руку; зато обширная библиотека его открыта была настежь, и пищею для любознательности матери моей послужили находившиеся в шкафах сочинения Декарта, Спинозы, Галля, Лафатера, Локка, Гельвеция, Вольфа, Канта, Вольтера, Руссо, Дидро и проч. Этой же библиотеке, часть которой подарена была Ольге Сергеевне моим дедом после ее замужества, а затем перешла ко мне, мать моя обязана приобретением познаний в астрономии (по руководству Albert Montemont «Lettres sur l'astronomie»<sup>10</sup>, зоологии, ботанике, истории всеобщей и отечественной, а также основательным изучением французских, английских и итальянских классиков. Немецкая же словесность далась ей гораздо труднее, точно так же, как и Александру Сергеевичу.

---

<sup>9</sup> Скажи мне, почему «Похититель» освистан партером? Увы! потому, что бедный автор похитил его у Мольера.

<sup>10</sup> «Письма об астрономии» (фр.).

Одним из любимых занятий Ольги Сергеевны в молодые годы ее было изучение физиогномики и френологии, так что сочинения Лафатера и Галле сделались ее настольными книгами, с помощью которых она, как говорила, безошибочно распознавала характер людей; занялась она, следовательно, и хиромантией, сама иногда изумляясь своим предсказаниям, из которых привожу два примера. Однажды Александр Сергеевич, вскоре после выпуска своего из лицея, убедительно стал просить ее посмотреть его руку. Ольга Сергеевна долго не соглашалась на это, но, уступив наконец усиленной просьбе брата, взяла его руку, долго на нее глядела и, заливаясь слезами, сказала ему, целуя эту же руку:

– Зачем, Александр, принуждаешь меня сказать тебе, что боюсь за тебя?.. Грозит тебе насильственная смерть и еще не в пожилые годы.

Как известно, предсказание сбылось в 1837 году.

Подобную же насильственную кончину Ольга Сергеевна предсказала своему родственнику А.Г. Батурину, поручику лейб-гвардии Егерского полка. Он за два дня до своей кончины провел у Пушкиных, родителей Ольги Сергеевны, вечер в полном цвете здоровья и юношеских сил. Разговор зашел о хиромантии, и Ольга Сергеевна, посмотрев его руку, сказала:

– По руке вашей вы не умрете естественной смертью; впрочем, не верьте моим хиромантическим познаниям.

На третий же день после этого предсказания Батурин пал от руки убийцы. Солдат полка, в котором служил Батурин, пылая мстью к наказавшему его жестокому фельдфебелю, решился его умертвить, а для ободрения себя к злодеянию напился допьяна и, ворвавшись в казарменную комнату, где думал встретить намеченную жертву, бросился с ножом на Батурина, приняв его за предмет своей мести. Батурин тут же испустил дух.

Вопросы отвлеченные, – кто я, что я и для чего я, – над разрешением которых так усердно трудились мыслители двух прошедших столетий, были главным предметом умозрительных и, в полном смысле, мучительных исследований моей матери. Занятия френологией и дочерью этой науки – хиромантией, не мешали, однако, Ольге Сергеевне смотреть в молодости своей на философские предметы с точки зрения большинства вышеупомянутых мыслителей, но впоследствии она исполнилась убеждения, что одни лишь философы-христиане могут вывести ее из лабиринта.

Перелому в ее взглядах способствовал главным образом А.И. Беликов; он вел с нею (без свойственных лицам его звания схоластических приемов) весьма оживленные прения и, разумеется, достиг чего желал: Ольга Сергеевна, увлеченная его методическими опровержениями Руссо, Вольтера и *tutti quanti*<sup>11</sup>, опровержениями шаг за шагом, притом исполненными едких над этими господами насмешек, пришла к заключению о несостоятельности систем вполне гадательных и стала уже разяснять себе тревожившие ее вопросы путем христианского учения. К сожалению, она, желая постичь тайны гроба роковые, увлеклась во второй половине жизни своей мистицизмом, в особенности после насильственной кончины брата: она вспомнила свое ему предсказание, а к стати вспомнила и довольно загадочные происшествия в семействе Пушкиных, на которые она, несмотря на то, что записала их, не обращала прежде особенного внимания. Но обо всем этом скажу в своем месте, а теперь, возвращаясь к хронологическому изложению воспоминаний о моей матери, скажу, что она считала бесполезною тратою времени все балы и рауты, к которым были так падки ее родители и на которых она, как говорят французы, а *son corps defendant*<sup>12</sup>, должна была присутствовать, по приказанию Надежды Осиповны; предпочитала она беседу с книгами, ставя выше всего, по ее выражению, жизнь созерцательную, почерпая в красотах природы, поэтических своих вдохновениях

---

<sup>11</sup> Всяких других (*ит.*).

<sup>12</sup> Против воли (*фр.*).

и живописи самое высокое наслаждение. В одном из сохранившихся у меня ее писем мать моя говорит между прочим:

«Le despotisme de mes parents dans ma jeunesse, et ensuite les soucis et revers m'ont fait manquer ma vocation. J'étais née pour mener une vie contemplative, mais non pour la lutte avec les vicissitudes d'une existence problematique ici bas, entre deux eternites – lutte penible, et insupportable»...

*(Деспотизм моих родителей в моей молодости, а потом заботы и злоключения заставили меня изменить моему призванию. Появилась я на свет для жизни созерцательной, но не для борьбы с обстоятельствами загадочного существования земного, между двумя вечностями, – борьбы трудной и невыносимой.)*

Письмо это она заключает любимыми стихами ее брата:

Дар напрасный, дар случайный,  
Жизнь, на что ты мне дана?.. —

вполне разделяя взгляд его и сочувствуя изложенным в этих стихах мыслям.

## Глава IV

Дед и бабка проводили весну и лето ежегодно с Ольгой Сергеевной, а в 1818 году и с Александром Сергеевичем в сельце Михайловском (Опочецкого уезда Псковской губернии), принадлежавшем Надежде Осиповне, которая предназначала это имение моей матери; но так как бабка скончалась, не оставив завещания, то после ее смерти и последовал раздел по закону: Александр Сергеевич, выплатив сестре соответственную часть, удержал имение за собою.

Соседями Пушкиных, во время пребывания их в Михайловском, оказались родственники их Ганнибалы, хлебосольство которых, радушие, доброта и порою навязчивое гостеприимство вошли у прочих соседей в поговорку: «Это что за *ганнибальщина?*» – говаривал зачастую соседний с Ганнибалами помещик другому же помещику, к которому приезжал погостить, если этот последний не отпускал его, приказывая отпрячь лошадей, пряча его саквояжи и проделывая тому подобные штуки, в производстве которых изощрались оба дяди Ольги Сергеевны – Петр и Павел Исааковичи Ганнибалы. Они были олицетворение пылкой африканской и широкой русской натуры, бесшабашные кутилы, но люди такого редкого, честного, чистого сердца, которые, чтобы выручить друзей из беды, помочь нуждающимся, не жалели ничего и рады были лезть в петлю.

И Петр, и Павел Исааковичи были людьми веселыми, в особенности Павел, придумывавший для гостей всевозможные забавы, лишь бы им не было скучно в деревенской глуши. Веселость его выразилась, между прочим, как рассказывала мне мать, в следующем экспромте, который он пропел во главе импровизованного хора бесчисленных деревенских своих родственников, когда, вооруженный бутылкой шампанского, он постучал утром в дверь комнаты, предоставленной приехавшему к нему племяннику Александру Сергеевичу, желая поздравить дядю с именинами:

Кто-то в двери постучал:  
Подполковник Ганнибал,  
Право слово, Ганнибал,  
Пожалуйста, Ганнибал,  
Сделай милость, Ганнибал,  
Свет, Исакыч, Ганнибал,  
ТЬфу, ты, пропасть! Ганнибал!  
(*Стихи сообщены моей матерью.*)

Александр Сергеевич, только что выпущенный тогда из лицея, очень его полюбил, что, однако, не помешало ему вызвать Ганнибала на дуэль за то, что Павел Исаакович в одной из фигур котильона отбил у него девицу Лошакову, в которую, несмотря на ее дурноту и вставные зубы, Александр Сергеевич по уши влюбился. Ссора племянника с дядей кончилась минут через десять мировой и... новыми увеселениями да пляской, причем Павел Исаакович за ужином возгласил, под влиянием Вакха:

Хоть ты, Саша, среди бала  
Вызвал Павла Ганнибала,  
Но, ей-богу, Ганнибал  
Ссорой не подгадит бал!  
(*Сообщено моей матерью.*)

Дядя тут же, при публике, бросился ему в объятия. В тот же год моя мать и дядя виделись с престарелым братом их деда, Петром Ибрагимовичем (Авраамовичем) Ганнибалом, сыном родоначальника этой фамилии, их прадеда, генерал-аншефом от артиллерии. Он пережил всех своих братьев и скончался в 1822 году, имея более девяноста лет от роду.

Петр Ибрагимович очень приласкал Ольгу Сергеевну и в особенности обрадовался тому, что Александр Сергеевич, которого он угостил настойкой, повистовал ему не поморщась.

По словам моей матери, Ганнибал впал тогда в такую забывчивость, что не помнил своих близких. Так, например, желая рассказать о посещении им своего сына, он говорил:

– Вообразите мою радость: ко мне на днях заезжал... да вы его должны знать... ну, прекрасный молодой офицер... еще недавно женился в Казани... как бишь его... еще хотел побывать в Петербурге... ну... хотел купить дом в Казани...

– Да это Вениамин Петрович, – подсказала ему его внучка Ольга Сергеевна.

– Ну да, Веня, сын мой; что же раньше не говорите? Эх вы!..

Пребывание Ольги Сергеевны в Михайловском было для нее отрадой. Окруженная веселыми соседями, отводя с ними душу, она забывала порою тягостный для нее деспотизм родителей, которому Ганнибалы не давали чересчур разгуливаться; но с осени, с переездом в Северную Пальмиру, начиналась родительская музыка: надоедания из-за пустяков, придирки и тому подобные угощения. Мать моя, однако, выдержала все это дольше своих братьев – Александра и Льва. Первый из них едва ли не нарочно, лишь бы бежать от родителей, провинился в 1820 году стихами «Ода на свободу», за которые и удален был из Петербурга, а второй равномерно бежал из дома, записавшись в 1826 году тайком от отца и матери в Нижегородский драгунский полк, на Кавказ: «Nous trois nous avons fui la maison, – говорила мне мать, – car le joug était insoutenable». (Мы трое бежали из дома, так как иго было невыносимо.) Детей пилила в особенности Надежда Осиповна, а в довершение страданий Ольги Сергеевны она в 1819 году лишилась горячо любившей бабки своей, Марьи Алексеевны Ганнибал, после чего и заступаться за Ольгу Сергеевну было некому. От родительского гнета избавил ее, как увидим ниже, только 9 лет спустя отец мой.

После разлуки с сестрой Александр Сергеевич переписывался с нею, сообщая в живых рассказах свои путевые впечатления и раскрывая ей все, что у него накопало на душе. К сожалению, большая часть этих писем утрачена, а уцелевшие у меня, нося на себе характер совершенно интимный, не могут представлять особенного интереса для публики. Некоторые же приписки моего дяди к сестре напечатаны в брошюре, изданной в 1858 году в Москве (в типографии С. Селивановского), под заглавием: «Письма А. С. Пушкина к брату Льву Сергеевичу» (с 1820 по 1836 год включительно), и сообщены в копии редакции «Библиографических записок» Сергеем Александровичем Соболевским с разрешения вдовы дяди Льва Сергеевича, Елизаветы Александровны Пушкиной, рожденной Загряжской.

Упомянув о втором брате моей матери, Льве, в честь которого и дано мне при крещении имя, считаю не лишним сказать о нем несколько слов.

Обладая умом далеко не дюжинным, Лев Сергеевич образовал себя сам, подобно сестре, чтением научных книг в отцовской библиотеке, убедясь, что вся преподаваемая премудрость по системе Русло, Шеделя и прочих им подобных фокусников критики не выдерживает; таким образом, он обязан сам себе поступлением в бывший университетский пансион, после блистательно выдержанного приемного экзамена. В этом заведении Лев Сергеевич и кончил курс. Одаренный громадной памятью, он не только декламировал произведения своего брата наизусть, чем иногда не на шутку бесил его, но и сам порой увлекался вдохновением музыки, которую, однако, держал под спудом: самолюбие не позволяло ему состязаться с колоссальным талантом брата. Лев Сергеевич, записавшийся, как сказано выше, «уходом» в неоднократно покрывший себя славой Нижегородский драгунский полк, отличился беззаветной, вполне «львиной», как выражалась мать моя, храбростью в кампаниях персидской, турецкой и

затем польской. Покойный фельдмаршал Паскевич очень любил его, украсив его грудь многочисленными знаками отличия; дядя в особенности проявил свою отвагу в сражении под Елисаветполем. Привожу для примера следующую черту его находчивости в названном сражении:

Когда нижегородцы понеслись в атаку, один из молодых солдат, оробев, пустился наутек. «Пушкин! – закричал полковой командир. – Видишь этого подлеца, догоняй его, руби его – он полк бесчестит!» – «Сабля тупа, – нашелся Лев Сергеевич, взяв под козырек, и, прищиприв коня, воскликнул: – За мной, ребята!» – Через несколько минут неприятельская колонна обратилась в бегство. Орден Св. Владимира был наградой моему дяде за этот подвиг.

Будучи храбр на войне «до отчаяния», Лев Сергеевич, в противоположность своему брату, никогда не выходил на дуэли, считая поединки не доказательством храбрости, а храброванием, «родомонтадой», как выражаются французы.

Находясь во время службы в обществе бретеров (а бретерство было в моде), он никогда не имел с ними никаких столкновений; напротив того, эти же бретеры относились к нему с должным уважением и любили его; во избежание же неприятных историй дядя, между прочим, – даже за бутылкой, – никому не говорил «ты»; не «тыкал» он и своего закадычного приятеля Ушакова, считая это местоимение никакой дружбы не доказывающим, – сущим, как он выразился однажды матери моей, ядом, источником пошлой фамильярности, следовательно, «разглупейших» (его собственное выражение) дуэлей; а происходят они именно от фамильярного обращения, корень которого и есть пагубное «ты». Этого местоимения, по мнению дяди Льва, Александру Сергеевичу следовало бы избегать как огня. «Неужели до сих пор не дознано Сашкой братом, – сказал он Ольге Сергеевне, – что опаснее врага фамильярный друг?» Ко Льву Сергеевичу и я еще возвращусь, а теперь возвращаюсь к последовательному рассказу.

Кончина Марьи Алексеевны Ганнибал в 1819 году, а затем и неожиданная разлука с братом Александром Сергеевичем, высланным из Петербурга в следующем, 1820 году, повлияли как нельзя более неблагоприятно на характер моей матери; родительские же капризы стесняли ее свободу; по этим капризам Ольга Сергеевна должна была сопровождать Надежду Осиповну и на вечера, и на рауты, и на утренние визиты, тогда как ей хотелось заниматься дома; причем Надежда Осиповна, принуждая ее выезжать, не заботилась ничуть о туалете дочери, так что, одетая хуже других, Ольга Сергеевна чувствовала себя более нежели неловко; Сергей же Львович, что называется, и в ус не дул: смотрел он на все глазами супруги. Наконец, неожиданная в 1824 году смерть нежно любившей Ольгу Сергеевну тетки ее, Анны Львовны, завершила превращение: от прирожденной матери моей веселости и следа не осталось. Здесь будет кстати сказать, что Александр Сергеевич, несмотря на чувства любви и уважения, которые всегда питал к скончавшейся тетке, написал в одну из минут, когда нашел на него действительно шаловливый стих, «Элегию на кончину тетушки». Ольга Сергеевна шалости этой, написанной, как она сказала ему, «ни к селу ни к городу», долго простить не могла. В названном стихотворении Александр Сергеевич задевает довольно колко сестру покойной Елизавету Львовну Сонцову, любившую обзаводиться серебряными самоварами и прочей серебряной утварью, мужа ее Матвея Михайловича, да за один мах и дядю своего Василия Львовича, который имел страсть писать эпитафии, вроде сочиненной им после смерти его камердинера Василия:

Под камнем сим лежит признательный Василий.  
Мир и покой тебе от всех мирских насилий...

В заключение элегии Александр Сергеевич крепко выругал насолившего ему цензора Красовского.

Супруги Сонцовы и обе их дочери – Ольга и Екатерина Матвеевны, – помимо всей их незлобивости, рассердились за элегию не на шутку; Василий Львович, не придавая выходке племянника особенного значения, удивлялся, как можно сердиться из-за таких пустяков, а

цензор, как сказал моей матери автор, во время довольно неприятного разговора с сестрой по этому случаю, «получил, что желал, и задумчивым стал».

Привожу эпиграмму в настоящем, первоначальном ее виде, как продиктовала мне мать, а не в том, в котором элегия эта, переделанная дядей впоследствии, появилась в напечатанном его письме к князю Вяземскому (см. том VIII Сочинений Пушкина, издан. А.С. Суворина 1887 г., стр. 32). Вот первоначальный текст:

Ах тетушка, ах Анна Львовна,  
Сергея Львовича сестра,  
Ты к батюшке была любовна,  
А к матушке была добра!  
Тебя Матвей Михайлыч кровный  
Всегда встречал среди двора,  
Тебя Елизавета Львовна  
Ценила больше серебра...  
Давно ли с Ольгою Сергевной,  
Со Львом Сергеичем давно ль,  
Как бы назло судьбине гневной  
Делила ты и хлеб и соль?  
Но «Вот»<sup>13</sup> уже Василий Львович  
Стихами гроб твой окропил!  
Почто стихи его попович,  
Подлец Красовский, пропустил?

---

<sup>13</sup> Тут каламбур: Василий Львович получил в литературном обществе «Арзамасцев» прозвание «Вот», подобно тому как Жуковский – прозвание «Громобой», а сам Александр Сергеевич – «Сверчок».

## Глава V

Поэзия была родовой особенностью Пушкиных; в молодости Ольга Сергеевна сочиняла преимущественно французские стихи, которые и записаны ею в завещанном мне альбоме. Привожу оттуда следующие коротенькие пьесы:

1

### *Sur un Songe*

Tourmentee par un songe, il me semblait naguere,  
Que dans les cieux agitant mes bras,  
Je volais, soutenue par des ailes legeres.  
L'amour, a ses pieds delicats,  
Trainant pour me braver une masse psante,  
Part plus prompt que les vents, que la foudre eclatante,  
Et m'atteint des les premiers pas.  
Que presage un tel songe? Helas! je crois l'entendre!  
Jusqu' a present, plus volage que tendre  
J'ai pu fuir, m'echapper a travers mille amours,  
Et je suis maintenant enchainee pour toujours  
Par le dernier qui m'a su prendre.

*(На сновидение)*

(Тревожимая сном, я когда-то видела, будто бы, простирая руки в небесах, я летала, поддерживаемая легкими крыльями. Амур, чтобы воспротивиться мне, двигая своими нежными ножками тяжелую массу, летит быстрее ветров, быстрее лучезарной молнии и настигает меня на первых полетах. Что значит этот сон? Увы! кажется мне, что его понимаю. До сих пор – более ветреная, чем нежная, – я могла бежать и уклоняться от тысячи привязанностей, а теперь связана навеки с последнею, которая и успела завлечь меня.)

2

### *A la Nuit*

Toujours le malheureux t'appelle,  
O nuit, favorable aux chagrins!  
Viens done, et porte sur ton aile  
L'oubli des perdes humains!  
Voile ma douleur solitaire!  
Et lorsque la main du sommeil  
Fermera ma triste paupiere,  
O Dieu! reculez mon reveil!..  
Qu'a pas lents l'aurore s'avance  
Pour ouvrir les portes du jour;  
Importuns, gardez le silence,  
Et laissez dormir mon amour!

*(К Ночи)*

(Несчастный всегда тебя призывает, о ночь, благоприятная горестям! Приди же и неси на твоих крыльях забвение вероломных смертных. Завесь скорбь моего одиночества, и, когда рука сна смежит мои печальные вежды, о Боже! отодвинь мое пробуждение, и пусть заря медленными шагами приблизится открыть двери дня. Непрошенные, храните молчание и не мешайте спать моей любви.)

*Sur la cigale*

O cigale melodieuse!  
Que ta destinee est heureuse!  
Que tu vis sous d'aimables lois!  
Dans le parfum de la rosee  
Tu t'enivres, reine des lois!  
Puis sur un vert rameau posee,  
L'echo retentit de ta voix!  
Des fruits, que prodigue l'automne  
Des biens, qu'apporte le printemps —  
La faveur des dieux te les donne  
Dans le bocage et dans les champs!  
Des guerrets hote pacifique,  
Ta vue est chere au laboureur;  
Nous aimons ton chant prophetique  
De l'ete doux avant-coureur!  
Les muses daignent te sourire,  
Et tu tiens du dieu de la lyre  
L'eclat de tes joyeux accents.  
Des bois oracle harmonieux,  
Fille innocente de la terre!..  
Ta substance pure et legere  
Te rend presque semblable aux dieux!

*(На стрекозу)*

(О стрекоза благозвучная, как счастлива судьба твоя, под какими прекрасными законами ты живешь! Ты, царица лесов, опьяняешься среди благоуханий росы, а когда сидишь на зеленой ветке, эхо передает твой голос! Плоды, которые расточает осень, богатства, приносимые весной, – все это предоставляет тебе в рощах и полях милость богов. Мирный посетитель пашен! Вид твой драгоценен земледельцу! Мы любим твое пророческое пение, приятный предвестник лета! Музы удостоивают тебя улыбкою, и ты получила от бога лиры очарование твоих радостных напевов. Сладкогласный певец лесов, невинная дочь земли, твое чистое и легкое вещество уподобляет тебя богам!..)

Привожу еще, хотя и вопреки хронологическому порядку, одно французское четверостишие моей матери; сочинила она его в течение не более пяти минут в 1849 году (23 мая) за два часа перед моим выездом из Варшавы в Петербург для поступления в учебное заведение:

*Acrostiche a mon fls Leon*

Les souhaits, qu'en ce jour je fais pour ton bonheur,  
En te disant adieu, partent du fond du coeur;  
O mon Dieu! daigne, daigne ecouter ma priere,

Ne la rejette pas – tu vois qu'elle est sincere...

*(Акростих сыну моему Льву)*

(Пожелания, которые сегодня произношу для твоего счастья, говоря тебе прости, исходят из глубины сердца. О Боже мой, удостой, удостой услышать молитву мою! Не отвергай ее, ты видишь, что она искренна!)

В вышеупомянутом альбоме списаны моей матерью также многие любимые ею стихотворения брата ее и других писателей. К сожалению, Ольга Сергеевна не под каждым из них подписывала фамилию авторов. В числе помещенных в этой книжке произведений находится пьеса «Разуверение», приписываемая Ольге Сергеевне ее друзьями; мать же на вопрос мой – «кто автор?» – отвечала, улыбаясь: «Сам отгадай, Леон, а так-таки и не скажу».

В этом стихотворении автор – по всей вероятности, Ольга Сергеевна – говорит как бы от имени товарища Александра Сергеевича по лицу, В.К. Кюхельбекера, после упрека, сделанного ему дядей за обидчивый нрав. И действительно, Александр Сергеевич однажды, в присутствии своей сестры, сказал Кюхельбекеру: «Тяжелый у тебя характер, брат «Кюхля» (так всегда он называл его); люблю тебя как брата, но когда меня не станет, вспомни мое слово: «ни друга, ни подруги не познать тебе вовек».

Пушкин любил всей душой брата «Кюхлю», хотя, так же как и с Павлом Ганнибалом, повздорил с ним именно из-за вздоров, вследствие чего, рассказывала мне мать, секунданта, их же друзья и приятели, поставив Пушкина и «Кюхлю» на дистанцию в пятнадцати шагах один от другого, вручили каждому из ратоборцев по игрушечному пистолету, не бившему и на пять шагов. Результатом поединка – искренние объятия соперников, слезы умиления и не одна бутылка «Аи». Вот стихи «Разуверение»:

Не мани меня, надежда,  
Не прельщай меня, мечта!  
Уж нельзя мне всей душою  
Вдаться в сладостный обман;  
Уж унесся предо мною  
С жизни жизненный туман.

Неожиданная встреча  
С сердцем, любящим меня...  
Мне ль тобою восхищаться?  
Мне ль противиться судьбе?  
Я боюсь тебе вверяться,  
Я не радуюсь тебе!

Надо мною тяготеет  
Клятва друга первых лет!  
Юношей связали музы,  
Радость, молодость, любовь,  
Я расторг святыя узы...  
Он в числе моих врагов!

Ни подруги и ни друга  
Не иметь тебе вовек!  
Молвил, гневом вдохновенный,

И пропал мне из очей;  
С той поры уединенный  
Я скитаюсь меж людей!

Раз еще я видел счастье...  
Видел на глазах слезу,  
Видел нежное участие,  
Видел... но прости, певец,  
Уж продвигу я ненастье!  
Для меня ль союз сердец?

Что же? роковая пуля  
Не прервала дней моих?  
Что ж? для нового изгнания  
Не подводят мне коня?  
В тихой тьме воспоминания  
Ты б не разлюбил меня...

Обидчивость Кюхельбекера порой, в самом деле, была невыносима; в обществе его прозвали «Le monsieur qui prend la mou-che»<sup>14</sup>. Так, например, рассердился он на мою мать за то, что она на танцевальном вечере у Трубецких выбрала в котильоне не его, а Дельвига; в другой же раз на приятельской пирушке у П.А. Катенина Кюхельбекер тоже вломился в амбицию против хозяина, когда Катенин, без всякой задней мысли, налил ему бокал не первому, а четвертому или пятому из гостей.

Относясь всегда как нельзя более дружески к Кюхельбекеру, Александр Сергеевич разошелся с другим своим лицейским товарищем, бароном, впоследствии графом, Модестом Андреевичем Корфом. Между ними пробежала черная кошка из-за безделицы. О столкновении дяди моего с Корфом Ольга Сергеевна, оправдывая отнюдь не своего брата, а Модеста Андреевича, рассказала мне следующее.

Поводом к взаимному охлаждению лицейских однокашников послужило обстоятельство вздорное.

Корф и Пушкин жили в одном и том же доме; камердинер Пушкина, под влиянием Бахуса, ворвался в переднюю Корфа, с целью завести ссору с камердинером последнего; вероятно, у этих субъектов были свои счеты. На произведенный камердинером Пушкина шум в передней Модест Андреевич вышел узнать, в чем дело, и, будучи вспыльчив, прописал виновнику беспокойства *argumentum baculinum*<sup>15</sup>. Побитый камердинер Пушкина пожаловался своему барину. Александр Сергеевич вспылил в свою очередь и, заступаясь за слугу, немедленно вызвал Корфа на дуэль. На письменный вызов Модест Андреевич отвечал тоже письменно: «Je n'accepte pas Voire def pour une bagatelle semblable, non par ce que Vous etes Pouchkine, mais parceque je ne suis pas Ktichelbecker».<sup>16</sup>

Корф, не жалуя Кюхельбекера за бретерство, уколол этим же качеством и моего дядю.

Буря в стакане воды повела, однако, к тому, что Александр Сергеевич начал коситься на Корфа, который тоже стал его избегать. Сошлись ли они впоследствии на прежнюю товарищескую ногу, – не знаю.

---

<sup>14</sup> Господин, который сердится по пустякам (*фр.*).

<sup>15</sup> Палочный довод (*лат.*).

<sup>16</sup> Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер (*фр.*).

Между тем Пушкин всю силу своей дружбы обратил на третьего своего товарища, поэта-барона Антона Антоновича Дельвига; теплые чувства их одного к другому не омрачились никакими недоразумениями.

Дядя после внезапной смерти Дельвига, последовавшей 31 января 1831 года, о которой получил известие, будучи в Москве, заболел от горя: кончина друга была для него неожиданным, страшным ударом. Изливая скорбь о невознаградимой утрате перед матерью моей, тоже искренно любившей безвременно угасшего поэта, Александр Сергеевич, среди истерических рыданий, сказал ей: «Сестра! в гробу мой Дельвиг милый! Немного нас осталось здесь: Горчаков, Комовский, Корф и только; о Кюхле (Кюхельбекере) не говорю; он для нас помер<sup>17</sup>; далеко, далеко он от нас... не увидим более друга Вильгельма...»

Слова моего дяди, вылившиеся из глубины его любящего сердца, мать моя вспоминала не раз и вспоминала не без слез, высказывая предположение, что будь жив Дельвиг, он бы не допустил ее брата до расправы с «мальчишкой» (ее выражение) Дантесом и заставил бы Александра Сергеевича пренебречь всеми анонимными пасквилями, которыми доедали и доели его люди, не стоящие подошвы разорванных сапогов его же пьяных лакеев (подлинные слова моей матери. Выражалась она энергически).

И действительно, Дельвиг был ангелом-хранителем Пушкина, добрым его гением, в противоположность Чаадаеву, которого, кстати скажу, Ольга Сергеевна терпеть не могла. По ее словам, стихотворение моего дяди «Демон», посвященное им другу своему, Ал[ександру] Ник[олаевичу] Раевскому, относится именно к Чаадаеву. Оно написано в 1823 году и начинается так:

В те дни, когда мне были новы  
Все впечатленья бытия...

И далее:

Тогда какой-то злобный гений  
Стал тайно навещать меня...

Переноса безропотно, до самого своего замужества, домашние огорчения и неприятности, Ольга Сергеевна находила bestолковой суетой погоню за общественными увеселениями и удивлялась своим сверстницам, бальницам и модницам, говоря им: «Je m'etonne, comment Vous ne pouvez pas sufre a Vous rnête?» (Удивляюсь, как вы не можете довольствоваться самими собою?) Любимым проведением времени и утешением ее были книги, ведение своего дневника, втайне, конечно, от родителей, – дневника, в котором она изливала свои страдания, наконец, беседы с людьми серьезными о предметах отвлеченных.

Как я уже упомянул в своем месте, Ольгу Сергеевну занимали, главным образом, не разрешаемые смертными вопросы высшие – о цели бытия земного, назначении человека и, наконец, вопрос роковой, страшный – о смерти и жизни загробной. Под влиянием кончины горько оплаканных ею Марии Алексеевны и Анны Львовны, мать моя увидела ключ к разрешению волновавших ее вопросов единственно в религии, покончив бесповоротно с несостоятельными системами философов-энциклопедистов.

Убежденная в истине бессмертия души, Ольга Сергеевна пришла к выводу, что отошедшие души наших родственников и друзей могут порою навещать оставшихся, а раз допустив это, она допустила бытие и других неразгаданных существ иного мира, духовного. Мистическому настроению матери содействовали, кроме чтения мистиков в библиотеке Сергея Льво-

---

<sup>17</sup> Кюхельбекер был сослан в числе декабристов в 1826 г.

вича, принадлежавшего в молодости, подобно своему брату Василию, к масонской ложе, и бесчисленные семейные легенды.

Некоторыми из этих легенд я и заканчиваю описание молодости матери до ее замужества, рассказывая каждое таинственное приключение порознь, и черта в черту так, как передавала мне их Ольга Сергеевна.

## 1. Белая женщина

Бабка моя, Надежда Осиповна, год спустя после появления на свет Александра Сергеевича, – следовательно в 1800 году, – прогуливаясь с мужем днем по Тверскому бульвару в Москве, увидела шедшую возле нее женщину, одетую в белый балахон; на голове у женщины был белый платок, завязанный сзади узлом, от которого висели два огромные конца, ниспадавшие до плеч. Женщина эта, как показалось моей бабке, не шла, а скользила, как бы на коньках. – «Видишь эту странную попутчицу, Сергей Львович?» Ответ моего деда последовал отрицательный, а странная попутчица, заглянув Надежде Осиповне в лицо, исчезла.

Прошло лет пять; видение бабка забыла. Пушкины переехали на лето в деревню; в самый день приезда, вечером, Надежда Осиповна, удалясь в свою комнату отдохнуть, села на диван. Вдруг видит она перед собою ту же самую фигуру. Страх лишает бабку возможности вскрикнуть, и она падает на диван лицом к стене. Странное же существо приближается к ней, наклоняется к дивану, смотрит бабке моей в лицо и затем, скользя по полу, опять как будто бы на коньках, исчезает. Тут Надежда Осиповна закричала благим матом. Сбежалась прислуга, но все попытки отыскать непрошеную гостью остались напрасными.

Прошло еще лет пять или шесть, и Пушкины переселились из Москвы в Петербург, так как дядю моего Александра готовили в лицей. К матери же в гувернантки определили англичанку мисс Белли, упомянутую мною уже выше, на которую Надежда Осиповна возложила, сверх того, поручение читать ей по вечерам английские романы. Однажды Надежда Осиповна, в ожидании прибытия гувернантки, укладывавшей Ольгу Сергеевну спать, вязала в своей комнате чулок. Комната освещалась тусклым светом висячей лампы; свечи же на столике бабка из экономии не сочла нужным зажигать до прихода мисс Белли. Внезапно отворяется дверь, и Надежда Осиповна, не спуская глаз с работы, говорит взошедшей: «А! это наконец вы, мисс Белли! давно вас жду, садитесь, читайте». Вошедшая приближается к столу, и глазам бабки представляется та же таинственная гостья Тверского бульвара и сельца Михайловского – гостья, одетая точно так же, как и в оба предшествовавшие раза. Загадочное существо вперило в Надежду Осиповну безжизненный взгляд, обошло или, лучше сказать, проскользнуло три раза вокруг комнаты и исчезло, как бабке показалось, в стене.

Спустя год или два после этого последнего явления Надежда Осиповна видит во сне похороны; чудится ей, будто бы ей говорит кто-то: «Смотрите! хоронят «Белую женщину» вашего семейства! больше ее не увидите». Так и вышло: галлюцинации Надежды Осиповны прекратились.

## 2. Двойник

В 1810 году к Пушкиным собрались, по случаю ли именин Сергея Львовича, или жены его (мать позабыла), гости. Страдая зубною болью, Сергей Львович высылает камердинера с извинением, что явиться к чаю не может. Общество занимает Надежда Осиповна разными забавными анекдотами, причем изошряет все свое остроумие на счет родственниц мужа – Чичериных, из которых одну она прозвала горбушкой, другую – крикушкой, третью – дурнушкой. Тогда сидящая за самоваром рядом с Надеждой Осиповной мать ее, Марья Алексеевна Ганнибал, подает ей знаки прекратить ядовитые шутки, но дочь, не унимаясь, хохочет над своими же остротами до упаду. Марья Алексеевна повторяет свою мимику и, наконец, выведенная из терпения, говорит: «Как не стыдно тебе, Надя, смеяться над его родными», – причем показывает дочери на порожний стул. Дочь не понимает, смотрит на мать и говорит ей, продолжая острить: «Ну что ж такое? разумеется, все три смешны: горбушка, крикушка, дурнушка!»...

Между тем, вот что было причиною и жестов, и увещания Марьи Алексеевны: ей показалось, будто бы Сергей Львович явился в гостиную в халате с подвязанной щекою и сел на стул у дивана. Прабабку мою поразило, каким образом чопорный Сергей Львович мог выйти в таком бесцеремонном облачении, он, который принимал посторонних у себя не иначе, как во фраке, согласно господствовавшему в то время этикету модных салонов? Удивление Марьи Алексеевны возросло, когда на ее вопрос дочери, почему та не наливает чашку чаю Сергею Львовичу (говоря это, Марья Алексеевна вторично указала на порожний стул), Надежда Осиповна отвечала: «Разве не знаете, мама, что Сергей из кабинета не выйдет? у него зубы болят, и чай ему я уже послала».

Двойник моего деда, никем, впрочем, не видимый, кроме Марьи Алексеевны, просидел в глазах ее на стуле до самого ужина, а когда гости перешли в столовую ужинать, последовал за ними, но прошел, минуя столовую, в кабинет, где находился не фиктивный, а настоящий Сергей Львович.

Удостоверясь на следующий день, что Сергей Львович вовсе и не думал показываться гостям в negligé, Марья Алексеевна перепугалась немало, но никому о явлении в течение целого года и не заикнулась, полагая, что если даст волю языку ранее, то случится с Сергеем Львовичем Бог весть что. Но 1810 год прошел благополучно, и только на новый – 1811 год, она сообщила о втором экземпляре моего деда.

### **3. Одновременная галлюцинация Василия и Сергея Львовичей**

Оба они, будучи детьми, увидели вечером в одной и той же комнате и в один и тот же час бабушку их Чичерину на девятый день по ее кончине. Она вошла к ним в детскую, благословила их и исчезла. Оба мальчика не сказали один другому об этом ни полслова. Лет пятнадцать спустя они пировали в кружке товарищей – офицеров Егерского полка; предметом беседы послужили, между прочим, сверхъестественные анекдоты, рассказываемые по очереди каждым из присутствовавших. Очередь дошла до Сергея Львовича, и он упомянул о своем видении; тогда Василий Львович, вскочив с места, закричал: «Как это, Серж? значит, мы в одну и ту же минуту видели то же самое?»

## 4. Галлюцинация Льва Сергеевича

Когда мой дядя Лев решил поступить в военную службу, не извещая о своем намерении родителей, уехавших из Петербурга в Михайловское, – это было в 1826 году, – то, оставаясь в их пустой квартире (если не ошибаюсь, по набережной Фонтанки у Семеновского моста), он приступил к разбору бумаг среди светлой майской ночи. Разобрав их, Лев Сергеевич хотел пройти в кабинет уложить свои вещи и тут задался вопросом, хорошо ли делает, уезжая на службу без родительского благословения? Путь в кабинет лежал через огромную гостиную, и вот Лев Сергеевич видит в гостиной скончавшуюся, как сказано выше, в 1819 году свою покойную бабушку, Марию Алексеевну. Дяде кажется, будто бы она встает при его приближении со стула, останавливается в расстоянии нескольких шагов от него, благословляет его крестным знаменем и исчезает мгновенно.

Впоследствии, в Варшаве, рассказывая моей матери свою галлюцинацию, дядя Лев, который далеко не был суеверен, а совершенно напротив того, прибавил: «Благословение тени добрейшей бабушки нашей послужило, знать, мне в пользу. Во всех отчаянных сражениях с персиянами и поляками я, среди адского огня, не получил даже контузии; пули как-то отлетали от меня, как от заколдованного».

## 5. Кончина Алексея Михайловича Пушкина

Алексей Михайлович Пушкин, племянник Марии Алексеевны Ганнибал, тоже, как известно, рожденной Пушкиной (см. родословную А.С. Пушкина, составленную отцом моим Н.И. Павлищевым со слов Ольги Сергеевны и напечатанную в издании П.В. Анненкова 1855 года), был свитским офицером и профессором математики в Москве. Религиозный родственник его Василий Львович посещал его часто, желая обратить его на путь христианского учения, однако встречал всякий раз со стороны хозяина не только сильную оппозицию, но и постоянное кощунство над предметами всеобщего чествования, – кощунство, доходившее в вольтерянце-хозяине до какого-то исступления. Мало того: Алексей Михайлович обучал кощунству и своего лакея, так что, когда Василий Львович выгонял из комнаты этого доморощенного философа, старавшегося при беседах между своим барином и гостем перещеголять в выходках первого из них, лишь бы получить лишний пятак на очищенную, – этот негодяй, по наущению Алексея Михайловича, возвращался в ту же комнату через другую дверь и продолжал твердить заданное барином и выученное к немалой досаде Василия Львовича.

Вдруг недуманно-нежданно Алексей Михайлович заболевает, запирается в кабинете, и многочисленная дворня его, в том числе и философ, слышит явственно в комнате барина два спорящих голоса и слышит их несколько ночей сряду. Челядь перетрусилась; но философ, по своему скептицизму, посмотрел на этот факт с философской же точки зрения и, не спрашивая, ворвался в кабинет; тут увидел он своего патрона и учителя среди комнаты, размахивавшего руками, испуганного и поистине страшного в испуге. Алексей Михайлович, устремив глаза на какой-то невидимый лакею предмет и ругаясь с каким-то таинственным гостем, замечает приход незваного камердинера и кричит что есть мочи:

– Пошел, пошел прочь! Не мешай нам; мы тебя не спрашиваем, убирайся куда цел, пошел!

Камердинер наострил лыжи и не посмел уже возобновлять опыта. Но затем всякую ночь слышна была загадочная перебранка, как рассказывали люди, продолжаясь в течение еще недель двух, до самой кончины Алексея Михайловича, о которой Василий Львович, продолжавший в силу христианского благочестия и родственных чувств посещать больного, правда по дням, а не по ночам, передавал своему брату и Ольге Сергеевне множество других странных подробностей, распространяться о которых считаю уже излишним.

Я привел некоторые легенды лишь в виду значения, которое приписывала им покойная Ольга Сергеевна и все семейство Пушкиных.

## Глава VI

В 1828 году Ольга Сергеевна вышла замуж за отца моего, Николая Ивановича Павлищева.

Родитель его, бедный столбовой дворянин Екатеринославской губернии, но рыцарь в полном смысле слова, Иван Васильевич Павлищев участвовал, командуя эскадрой отважных Мариупольских гусар, в кампаниях против Наполеона в 1805, 1807, 1812, 1813 и 1814 годах.

За отличие в кровавых битвах под Аустерлицем, Прейсиш-Эйлау, Фридрихсфельде, Тарутине, Лейпциге (где, в самом разгаре боя, встретил в последний раз своего старшего сына, Павла, служившего юнкером в другом полку), Бар-Сюр-Обе, Фершампенуазе и, наконец, в приступах Бельвиля и Монмартра дед мой – любимец героя этих времен князя Петра Христиановича Витгенштейна – получил за отличную храбрость ордена: св. Владимира 4-й степени, Анны 2-й степени с алмазами, а за Фершампенуаз – высшее за военную доблесть возмездие – орден св. Георгия 4-й степени. Скончался в 1816 году в чине полковника от полученных в сражениях ран и чахотки по возвращении в Екатеринослав.

Покровитель детей его, незабвенный князь П.Х. Витгенштейн, доказал на деле, а не на одних словах расположение к Ивану Васильевичу: выхлопотал вдове его значительную пенсию, замолвил в пользу старшего сына доброе слово, в силу которого дядя Павел Иванович быстро пошел по службе, а младшего, отца моего, определил на казенный счет в благородный пансион Царскосельского лицея. Николай Иванович, крестник Витгенштейна, был, что называется, его *garçon gate*, баловнем.

Мать отца, Луиза Матвеевна, рожденная фон Зейдфельд, скончалась тоже в Екатеринославе в 1846 году, тридцать лет спустя по смерти мужа. За два года перед кончиной думала она посетить Николая Ивановича в Варшаве, но болезнь помешала. Я ее не видал.

Итак, отец мой поступил казеннокоштным воспитанником пансиона лицейского. Оба заведения – лицей и пансион, разделенные между собою парком, составляли в то время почти одно, управляясь общим директором – сперва Малиновским, а потом Е.А. Энгельгардтом. Курс наук и профессора были одни и те же, права по службе тоже: лучшие воспитанники выпускались в старую гвардию офицерами, а в гражданскую службу – десятым классом. Пансион был открыт 27 января 1814 года, упразднен же пятнадцать лет спустя по причинам, изложенным в весьма интересной монографии питомца этого заведения, генерал-лейтенанта князя Николая Сергеевича Голицына, изданной в 1869 году под заглавием: «Благородный пансион Императорского Царскосельского лицея 1814—1820 гг.».

Отец мой, обучаясь в пансионе, готовился к службе военной, слушая лекции артиллерии, фортификации, тактики и инженерного искусства у известного в то время мастерским преподаванием инженер-полковника Эльснера, вместе с своими друзьями Безаком и бароном Бухгольцем. Но на старшем курсе отцу моему пришлось горько разочароваться. Не знаю почему, искренно любивший его за успехи в науках директор Энгельгардт вообразил, что Павлищев слабогруд и одарен всеми признаками наследственной чахотки, в силу чего и распорядился: отцу моему оставить «Марса» в покое, а служить «Фемиде».

Перед самым выпуском над отцом моим стряслась беда.

Воспитатель Гауеншильд, всеми ненавидимый – и начальством и воспитанниками – за фискальство, уловил удобную минуту, когда Энгельгардт был не в духе, донести, что воспитанник выпускного класса Павлищев курит трубку-носогрейку. Наслаждение табаком преследовалось Энгельгардтом елико возможно. Результатом доноса Гауеншильда было то, что отец мой едва не подвергся исключению, и только отличные успехи в науках выручили его из беды. Однако, вследствие доноса Гауеншильда, отец выпущен в 1819 году не первым, а вторым, полу-

чив не золотую медаль, предоставленную другому воспитаннику Ольховскому, а первую серебряную.

На следующий месяц после выпуска отец мой, семнадцати лет от роду, вследствие ходатайства князя Витгенштейна, поступил прямо на должность помощника столоначальника в Департамент народного просвещения по приказанию тогдашнего министра князя А.Н. Голицына; в должности этой пробыл год, по истечении которого Петр Христианович пристроил отца моего, в 1820 году, к себе, по званию главнокомандующего 2-й армией, и повез с собою в Тульчин.

Служба отца у Витгенштейна была далеко не обременительна; Петр Христианович познакомил крестника, между прочим, и с семейством начальника своего штаба, Киселева, который, обласкав как нельзя более отца моего, посоветовал ему воспользоваться свободными от службы досугами: заняться серьезно тем, к чему он обнаруживал особенную склонность.

Слова Киселева не упали на почву бесплодную. Отец после беседы с Киселевым переделал из Дестют де Траси замечания на Монтескье, перевел из Филанджерьи трактат «О деяниях, не подлежащих наказанию» и некоторые главы из «Философского словаря» Вольтера, касающиеся политико-экономических вопросов. Будучи нрава веселого, отец, желая посмеяться над Бурцевым, Филипповичем и другими почитателями их сослуживца, сосланного впоследствии декабриста князя Бярятинского, хлопотавшими между прочим о замене в артиллерии и фортификации технических иностранных слов русскими, написал «10 мористическое письмо из Кремлевщины 1823 года». Результат выходки – дуэль отца с Бярятинским на пистолетах, причем отец повредил противнику колено.

Историю потушили. Бярятинский подал рапорт о какой-то другой, будто бы постигшей его внезапной болезни, а с отцом моим, немедленно после поединка, помирился.

В 1822 году П.Д. Киселев командировал отца, с разрешения Витгенштейна, в Петербург с поручением извлечь в Государственном архиве и Военно-топографическом депо материалы для истории русско-турецких войн, начиная со времен Петра Великого до времен последних, причем Павел Дмитриевич, вручив ему инструкцию, снабдил рекомендательными письмами, давшими отцу повод войти в прямые сношения с Нессельроде, Дибичем, Довре и особенно с Закревским.

Отец выполнил весьма добросовестно возложенное на него поручение: с помощью прикомандированных к нему из Коллегии иностранных дел и Инспекторского департамента писцов он трудился более двух лет над составлением выписок, которые и пересылал к своему начальнику с срочным фельдъегерем. За то два раза в течение года (1824) получил он денежные подарки в размере годового жалованья.

Возвратиться в Тульчин отцу не довелось: последовал известный поединок П.Д. Киселева с М – м. Покровитель Николая Ивановича выехал после дуэли за границу, а отец подал тогда же, в 1825 году, в отставку; он думал отправиться туда же и жить концертами, полагая, что русские песни интересуют иностранцев; играл отец мастерски на семиструнной гитаре, введенной в моду Сихрою и Аксеновым, музыкальные вечера которых он постоянно посещал; там очень полюбил отца и знаменитый автор народного гимна А.Ф. Львов и познакомил с главными понятиями, как выразился Львов, об «его превосходительстве генерал-басе», вследствие чего отец и решился написать для незабвенного композитора вариации на русскую песню «Ах, что же ты, голубчик» с аккомпанементом квартета, а затем переделал для гитары и напечатал отрывки из «Фрейшюца» Вебера.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.